

Антропология уличного насилия в начале XX века

Составитель блока: Борис Колоницкий

Владимир Булдаков

Революция или бунт, классовая борьба или погромное хулиганство?

ВЗГЛЯД ИЗ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

DOI: 10.53953/08696365_2024_189_5_126

Vladimir Buldakov

Revolution or Riot, Class Struggle or Pogrom Hooliganism? View from Today

Владимир Булдаков (Институт российской истории РАН, главный научный сотрудник; доктор исторических наук) kuroneko@list.ru.

Vladimir Buldakov (Dr. habil.; Chief Researcher, Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Russia) kuroneko@list.ru.

Авторы предлагаемых ниже статей стараются показать то, чего наши современники, включая профессиональных историков, стараются не замечать. Это не удивительно — историческое сознание несовершенно *suī generis*. Человеку нужна не беспощадно реалистическая картина собственной исторической судьбы, а понятное и релаксирующее представление о прошлом. Это в первую очередь относится к таким турбулентным периодам истории, как войны и революции, — им лучше не беспокоить спящий разум современности.

О российской революции — не только великой, но и страшной — написаны горы книг и статей. Их главная слабость — невнимание к тому, что двигало «маленьким» человеком, оказавшимся внутри грандиозных событий. Ему приписывается то рациональность (в современном ее понимании) действий и поступков, то связанная с его «недоразвитостью» стихийность и импульсивность поведения. Авторы стараются по-своему подойти к давним спорам на этот счет.

Насилие пронизывает всю историю человечества. Интенсивность его возрастает в «эпоху перемен», но наблюдателей особенно впечатляют и возмущают его неупорядоченность и вандализм. В связи с этим у «цивилизованного» человека возникает ряд закономерных вопросов. Предшествует ли интен-

сификация «бытового» насилия масштабным смутам, войнам и революциям, или, напротив, они являются их следствием? Где искать истоки хулиганства, погромов, бунтов: в глобальных подвижках или в самой природе человека, не выдерживающей возросшего социального напряжения? С какими социальными слоями связывать рост насилия: с возросшей массой маргиналов или надломленной психикой «обычного» человека? В каком отношении находится «архаичная» бунтарская стихия с классовой борьбой, направляемой радикальными идеологами и подталкиваемой всевозможными провокаторами? Как анализировать природу сопутствующих массовых девиаций: с помощью позитивистской социологии или средствами социальной психиатрии?

Все эти вопросы ставились не раз и не всегда безуспешно. Так, полосу европейских войн и революций начала XX в. связывали с невиданными ранее социально-демографическими подвижками: взрывоподобным ростом народонаселения, стихийной урбанизацией, нарушением привычного гендерного равновесия, происходящими в условиях тогдашней информационной революции. Все это сочеталось с феноменом ресентимента (Фридрих Ницше, Макс Шелер) — агрессивностью, накопленной ранее в удушающей атмосфере благополучных, казалось бы, обществ. Отсюда распространение «хулиганских» видов насилия, психологически подталкивающих и мировую войну, и ее антитипод — мировую революцию.

Проблема, однако, в том, как проявляют себя «универсальные» ресентиментные интенции в той или иной культурной среде. Как это влияет на контактируемость новых идей в различные — застойные или турбулентные — периоды истории? Как соотносится все это с традиционной криминогенной средой? Наконец, на основе каких источников следует разрабатывать комплекс возникших вопросов?

Известно, что молодежь «всегда бунтует», те или иные формы «озорства» пронизывали всю историю России. Но человек по своей природе не только бунтарь, но и конформист, причем порой удивительно терпеливый. Однако исследователь активизируется, когда тот взрывается, впечатляясь следствием, а не причиной. Забывается, что за спонтанными актами насилия снизу могут стоять годы, десятилетия и даже столетия привычно незамечаемого насилия сверху.

Все связанное со смутой и насилием сопровождается повышенной эмоциональностью. Баланс между реальным, воображаемым, символическим (Жак Лакан) в сознании человека меняется в пользу воображаемого. А последнему столь же неслучайно придается символическая значимость, которая, в свою очередь, способна «материализоваться» (феномен реификации). В таких условиях отношение к актуальным формам асоциальности оказывается амбивалентным. Максим Горький в предреволюционное время восторгался «босяками» (диссипативными элементами), а в 1917 году выступил в роли социально-политического моралиста, осуждавшего погромно-самосудные действия толп. В свою очередь, Леонид Андреев воспевал «морально упорядоченную» политическую революцию и возмущался анархическим «бунтом» (то же самое ранее проделывал Ч. Ломброзо). Да и крайние политики — от идейных анархистов до «патриотичных» черносотенцев — осуждали стихийное насилие. Всякий революционер будет поощрять (в том числе имплицитно) насилие, помогающее расшатывать «отживший» режим; всякая власть, включая революционную, будет отстаивать свою монополию на насилие, подавляя погромные и бунтарские действия в качестве «контрреволюционных».

Авторы представляемых текстов предлагают взглянуть в явления, упорно не замечаемые историками. Каждый читатель может либо принять, либо отвергнуть их видение и интерпретации. Но не стоит забывать, что историческая действительность в любом случае много сложнее и неожиданней, чем нам бы хотелось.

Статья **В.Б. Аксенова** ««Красная баба идет»: женские погромы в годы Первой мировой войны (от базовых эмоций к социально-политическому насилию)» сразу же погружает нас в странные, казалось бы, коллизии творчески воображаемого и ассоциативно-надуманного. Действительно ли «экспрессивный импрессионист» Филипп Малявин в знаменитом полотне «Вихрь» изобразил «загадочную» пляску русских баб «в хаосе окровавленных лохмотьев»? Или его учитель — знаменитый Илья Репин — следуя народническо-передвижнической традиции явно «ко времени» (революция 1905 года!) навязал самозабвенно танцующим крестьянкам образ «холодной оргии медленных движений и затаенной жестокости на спокойных с виду лицах»?

Лично у меня малявинские бабы никогда не ассоциировались с революцией. Еще до «Вихря» Малявин отметилса безудержно оптимистичным и ничуть не бунтарским «Смехом» тех же крестьянок. Да и сам И. Репин в картине «17 октября 1905 г.» изобразил «розовую» (оптимистичную), а отнюдь не кровавую революцию.

Каждый видит то, что ему хочется видеть. Особенно в турбулентные времена. Некоторые используют перверсии общественного воображения вполне прагматично. Хитроватый Репин имел обыкновение не только потакать вкусам «всякой» публики — от царей до социалистов, — но и восхвалять собственных учеников, включая таких антиподов, как Филипп Малявин и Исаак Бродский. Разумеется, не без греха иллюзорности и историка — те, которые не относятся к многочисленной армии «бесчувственных» позитивистов.

Фантасмагория бунтарских образов применительно к пресловутым «бабам» на этом не закончилась. Как показывает Аксенов, идею «красной» (кровавой, а не красивой!) бабы подхватил В.В. Розанов. По мнению Н.А. Бердяева, Розанов сам являл собой воплощение «мистической» русской бабы. При этом в самом писателе не было ничего непосредственно бунтарского, скорее наоборот. Своей пугливой эмоциональностью (чисто женским смирением перед «мужской» силой, насилием, властью) Розанов провоцировал общественные страхи (от которых затем сам же приходил в панический ужас). Этот фактор получил гипертрофированное звучание накануне новой революции — в декабре 1916 года на выставке работ Малявина в Москве, где он представил галерею старых и новых «баб». Некий критик тут же возопил: «Красная баба идет... Кажется, она все испепелит и своротит на своей дороге».

Между прочим, обращаясь к творчеству Бердяева, стоило бы обратить внимание на «темное вино» — то «темное иррациональное начало», которое, по мнению философа, «опрокидывает все теории политического рационализма». Дело не в «мистической бабе» — она лишь актуальное воплощение исторического подсознания народа, перегруженного напластованиями «отеческого» насилия, практикуемого самодержавной властью. Позднее это впечатляюще показал выдающийся художник Борис Григорьев в портретном цикле «Расея». Его безмолвствующие образы крестьян в полном смысле таили в себе ступок почти физически ощущаемых ресентиментных интенций.

Впрочем, общественная психология связана не с социологическими и тем более не с психоаналитическими абстракциями, а со своими собственными образами, метафорами, символами. С легкой руки живописцев и литераторов бунтарские беспорядки в России времен Первой мировой войны стали ассоциироваться не только с «красной бабой», но и с «красным смехом». Последний образ использовал Леонид Андреев. За ним последовал Давид Пасманик, увидевший в революции сардонический «красный смех», «вызванный стонами миллионов людей, погибших на кровью пропитанных полях Западного и Восточного фронтов». Примечательно, что в связи с революцией пробовали издавать сатирический журнал «Красный смех». В иные времена из трагического делают комическое — страхи прикрываются смехом.

Как бы то ни было, общественные страхи (всегда преувеличенные) способны накликать реальные потрясения. Разумеется, при условии, что последние имеют под собой некие «материальные» основания. В соотношении реального и воображаемого применительно к женскому бунтарству в тылу Первой мировой войны и пытается разобраться Аксенов.

Автор привлек к своему исследованию громадный, при этом весьма разнородный документальный материал. Однако на его основании можно сделать лишь самые общие выводы. Во-первых, «эмансипаторского» бунтарства российских «равноправок» (в отличие от британских суфражисток, о которых упоминает автор) не было заметно — они получили возможность общественного самоутверждения на почве благотворительности и каритативной деятельности. Во-вторых, в городе «красные бабы» не просматриваются — хорошо известные по 1905 году кумачовые флаги они не использовали. В-третьих, и городское и деревенское бунтарство было связано главным образом с бытовыми нуждами (денежное довольствие, продовольственное снабжение), а не гендерно-эгалитаристскими претензиями. Наконец, специфически женского (мстительного) насилия (если таковое в природе существует) совсем немного. И главное: женщины своим поведением (подчас истеричным) скорее провоцировали маскулинный тип социального буйства. Последнее, как принято, неуклонно «этнизировалось». В целом, образ собственно «красной бабы» материализовался лишь после Февраля 1917 года, что было вызвано общим «покрашением» общества.

Очерк **Б.И. Колоницкого, К.В. Годунова, К.А. Тарасова** «Революция или хулиганство? Уличное насилие в Петербурге в июле 1914 года в интерпретациях современников» фокусируется на событии, именуемом некоторыми авторами «началом отложенной в связи с войной революции». Подразумевается, что вторая после 1905 года революция могла бы случиться много ранее февраля 1917 года. Как бы то ни было, исследователи показывают, что спонтанными актами хулиганства сопровождалась и политические выступления рабочих, и патриотические демонстрации, связанные с началом войны. Наконец, хулиганство приняло характер масштабного бунта, обернувшегося погромом немецкого посольства. При этом некоторое недоумение у авторов вызывает вопрос о соотношении «немотивированного» хулиганства и «сознательного» социального протеста.

Представляется, что вопрос не столь сложен. Изначально британский по своему происхождению феномен хулиганства содержал в себе эпатажный вызов викторианскому застою. Российские рабочие, особенно молодые, также могли самоутверждаться с помощью вызывающих (особенно по отношению

к «буржуазной» среде) поступков. С другой стороны, российское «революционное хулиганство» психогенетически связано с традиционным юношеским «озорством», наиболее характерным для патерналистских систем. В общем, одни и те же рабочие-мужчины могли демонстрировать и «пролетарскую солидарность», и индивидуальное, и групповое хулиганство. А в целом основная масса рабочих всегда предпочитала экономические формы сопротивления. Собственно классовая борьба была связана прежде всего с завоеванием достойного положения в существующем буржуазном обществе.

Характерно, что на этом фоне призрак «красной бабы» оказался далек от масштабной «материализации», хотя женщины участвовали в захвате германского посольства, а на окраинах столицы жены мобилизованных, возмущенные скачком цен, приняли участие в разгроме нескольких базаров. Тем не менее не приходится сомневаться, что женщины-работницы в будущем могли как присоединяться к масштабным «мужским» забастовкам, так и ситуационно включаться во всевозможные (прежде всего продовольственные) погромы, устраиваемые хулиганствующими люмпенами. Кому-то хотелось увидеть во всем этом проявление классовой борьбы, кто-то объяснял его деградацией городских низов, морально сросшихся с преступной средой, а некоторые связывали стихийное насилие с подстрекательством неких «темных сил». Картина происходящего не могла не меняться с изменением угла зрения очевидца.

Ц. Хасегава в статье «Самосуды в Петрограде и русская революция, март 1917 — март 1918» обратился к одной из самых неприглядных сторон революционной обыденности — расправам толп над преступниками, как реальными, так и мнимыми. На протяжении многих лет историки старались не замечать этого явления. Между тем в сознании столичных (и не только) обывателей именно погромы, постоянно оборачивающиеся самосудными акциями, постепенно занимали главное место в формирующемся образе революции.

Февральский переворот по-своему актуализировал феминистический нарратив революционной действительности. Однако востребованным оказался не фантом архаичной «богини-мстительницы», не фигура «Свободы на баррикадах» Э. Делакруа, а благостный образ античной девы, возвещающий с обложек популярных изданий о наступлении царства Свободы, Равенства, Братства. Таковы были старые как мир иллюзии, нашедшие свое преломление в сознании интеллигентов. Тем временем на улицах происходило нечто иное. В связи с растущим дефицитом нарастала волна беспорядков (прежде всего продовольственных), «революционная милиция» оказывалась бессильной перед разгулом преступности, а воображение горожан рисовало типаж грязной торговли-спекулянтки, который со временем приобретал еще более отвратительный образ — «Слепая бабища — Резня» (Аркадий Бухов). С некоторой натяжкой можно сказать, что действительно появилась «красная баба». Однако теперь она казалась окрашенной в иной цвет — черный цвет анархии.

Власть, возникшая после Февраля, отменив смертную казнь и распустив ненавистную полицию, не смогла восстановить монополию на насилие с помощью случайно набранной милиции и столь же профессионально беспомощных «революционных» судов. Население реагировало соответственно: толпы самостоятельно творили суд и расправу не только над ворами, но и над укрытателями продовольствия и дефицитных товаров, торговцами-спекулянтами и даже милиционерами, в которых не без оснований подозревали бывших уголовников. При этом былая ненависть к «немцу» переместилась на «жидов».

Похоже, что даже «цивилизованные» граждане, отнюдь не одобрявшие самосудных расправ, в душе им сочувствовали.

Преступников то расстреливали (соответственно военным навыкам), то забивали насмерть, не забывая по деревенскому обычаю позорно их стигматизировать. Еще чаще жертв топили — то ли отзвук средневековых представлений о «высшем» суде («либо потонет, либо выплывет», хотя выплывать не давали), то ли обеспечивая (в соответствии с общинными практиками) некую анонимность преступления. Однако до тогдашнего сельского изуверства, когда преступников сжигали или забивали в пятки гвозди (об этом не раз писали газеты), в столице дело не доходило. Не было и случаев публичных садистских расправ над аристократками, которыми в свое время упивалась парижская чернь.

Всякая революция демонстрирует свою культуру насилия. Последняя впитывает в себя не только архетипические жестокости прошлого, но и карательные навыки современности. Однако во всяком стихийно разрастающемся насилии рано или поздно прорежутся устрашающие доисторические изуверства. От этого не спасут никакие призывы к справедливости и гуманности.

Из кого состояли толпы, творящие расправу? Ц. Хасегава отмечает, что рабочих среди них не было заметно. Вероятно, это справедливо. В 1917 году рабочие сконцентрировались на внедрении собственных порядков в заводских и фабричных цехах. Впрочем, в погромах и самосудах могли участвовать их жены и повзрослевшие дочери. Возмущенных обывателей, конечно, подначивали хулиганы. Несомненно, активно участвовали в расправах солдаты (в основном бывшие крестьяне), заполонившие городские пространства. Независимо от ссылок автора на Эмиля Дюркгейма и Гюстава Лебона, пытавшихся проникнуть в психологию толпы (список авторитетов по этой части можно продолжить), очевидно, что урбанизированная петроградская среда оказалась пропитана архаичными (деревенскими) представлениями о преступлении и наказании. Естественно, в провинции происходило нечто подобное.

Самосудные расправы не случайно множились по мере приближения к большевистскому перевороту. Характерно, что если ранее большевики воспринимали их как проявление классовой борьбы, то, придя к власти, они объявили их «контрреволюционными». Автор считает, что большевикам удалось остановить вакханалию самосудов внесудебным путем, расстреливая на месте и пойманных преступников, и участников расправ над ними. Не приходится сомневаться, что существовала прямая зависимость между архаикой разрушенных социумов, агрессивностью сформировавшихся из их обломков толп и уровнем репрессивности выросшего из бывшего беззакония политического режима.

М. Стейнберг предложил рассмотреть постреволюционную «хулиганскую» ситуацию под весьма необычным углом зрения, сравнив «уличные эмоции и уличную мораль» в Одессе и Бомбее. Этот прием выглядит оправданным. В том и другом случае население находилось как бы под внешним — отчужденным от своей культурной среды — управлением.

Хулиганство, особенно в деревне, беспокоило царские власти еще перед войной, не справилось с ним и Временное правительство. Сходным образом как советские власти, так и британские колониальные управленцы усматривали в уличном насилии политическую и моральную угрозу своему существованию. Было известно, что большие города втягивают в себя всевозможных социальных отщепенцев. Само своеобразие Одессы — южнорусского портового города,

известного как талантами, так и подонками, — могло предстать в глазах большевиков вызовом их устремлениям к новой морали и новому человеку.

1920-е годы следовало бы рассматривать в контексте постреволюционной общественной фрустрации. Однако большевистский режим вольно или невольно нагнетал новую волну агрессивности и в городе, и в деревне. Трудность борьбы с хулиганством связывалось с тем, что теперь его сложно было связать с деятельностью враждебного контрреволюционного класса — активно хулиганили молодые рабочие. Можно было, конечно, объявить хулиганство еще одним пережитком прошлого, однако, вопреки ожиданиям, этот пережиток прогрессировал и даже становился модой.

Нечто подобное происходило в Бомбее. При этом если в Одессе хулиганство все основательнее подпитывалось антисемитизмом, то в Бомбее оно отягощалось межобщинными противоречиями. В Индии и колониальные власти, и местные культурные элиты не находили иного объяснения этому явлению, помимо указаний на деградацию низов и ревитализацию религиозно-этнических практик. Между тем хулиганство можно интерпретировать как ответ на моральную немощь общества и управленческую несостоятельность власти, претендующей на тотальный характер своего господства. В общем, иных способов борьбы с хулиганством, кроме властного насилия, его же стимулировавшего, не находилось.

Несомненно, в том и другом случае определяющим фактором хулиганского поведения был ресентимент. Репрессивный тип власти способен нагнетать его весьма эффективно. Ныне почти забытый в Европе (он был очень популярен в 1960-е годы) темнокожий философ и психоаналитик Франц Фанон в своей знаменитой книге «Проклятем заклейменные» (в оригинале «Les damnés de la terre») не случайно писал о «закипающей под кожей» «концентрированной ярости», готовой прорваться в любой момент у предельно униженных людей (вспоминаются строки А. Блока: «Темная, земная кровь...»). Со своей стороны, Славой Жижек, фрейдомарксист и последователь Ж. Лакана, считал, что хулиганские акции являются не столько формой протеста, сколько языком безмолвных существ, лишенных конструктивных жизненных ориентиров. Бесполезно морализировать по этому поводу, а равно искать виновных. Исправить положение можно было только «изнутри», активизируя творческие, а не разрушительные потенции общества. Революции, напротив, мобилизуют иррационально-агрессивные пласты культурно-исторической сути человека.

Каждый из авторов представленных очерков сообщает о «своей» разновидности насилия, не сообразуясь с соседствующими текстами ни в фактографическом, ни в терминологическом отношении. Однако их автономные тексты органически сливаются в единый метанарратив «красной смуты» — этого «сумбурного» апофеоза системного кризиса империи. Историки редко отваживаются на исследование этого феномена «изнутри», а некоторые даже пытаются заслониться от него с помощью марксистско-ленинских анахронизмов. Но явление, впитавшее в себя и модернизаторские позы извне, и эндогенные архаизмы, не могло стать ни антиподом капитализма, как воображали марксистские доктринеры, ни социально справедливым, как мечтали низы, ни тем более демократичным, как надеялись культурные элиты.

Разумеется, авторы очерков не смогли ответить на все возникающие по военно-революционной теме вопросы. Но на данной стадии исследования важно было хотя бы обозначить наиболее неудобные из них.